

Л.В. ЖАРАВИНА, В.В. КОМПАНЕЕЦ  
(Волгоград)

**ПОБЕЖДЕННЫЕ: ПРОБЛЕМА  
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ  
(на материале русской прозы  
второй половины XX в.)**

*Рассматривается ономастика русских писателей последних десятилетий XX в., связанная с воспроизведением феномена «бывшести» как основы образов побежденных: участников Белого движения времен Гражданской войны, потомственных аристократов как объекта идеологического прессинга, жертв ГУЛАГа. Выявляется обусловленность их изображения факторами объективного и субъективного порядка: принципом историзма и своеобразием творческой индивидуальности авторов.*

Ключевые слова: ономастика, имя и число, социально-психологическая матрица, поведенческие модели, историзм, судьба, характер.

Veni, vidi, vici – такова классическая матрица поведения победителей, которых, как известно, не судят. «Какое безмерное чувство своего “я” возносило Александра над его друзьями и жизнью многих тысяч людей», – заметил Гегель, оправдывая и «личную месть», и «черты жестокости» как выражение «энергии героических времен» [1, с. 251]. По этой логике только избранным, сконцентрировавшим в себе то, что разбросано в миллионах обывателей, удастся достигнуть «совершенных вершин целого», оставаясь свободной, прекрасной «с человеческой точки зрения» и неподсудной личностью (Там же, с. 252). Однако в качестве беспристрастного оппонента изложенной позиции, воспринимаемой как аксиома, в XX в. выступила сама история. Так, Варлам Шаламов вынес из семнадцатилетнего колымского опыта твердое убеждение: «Мы всегда с побежденными, в этом наша сила» [10, т. 5, с. 258]. Он хорошо знал, как в экстремальных условиях, условиях *зачеловечности*, ценностные стереотипы попадают из разряда абсолютных в разряд относительных [4].

И речь идет не только об уроках ГУЛАГа. «Все перемешалось... Дворяне стали плебеями, плебеи – дворянами, толпа – армией, армия – толпой, большевики дружат с буржуями, воюют с социалистами», – писал в романе «После бури» (1985) Сергей Залыгин, изображая пореволюционное десятилетие как время тотального экспериментаторства [5, с. 75]. Произведение уникально в том отношении, что носителем исторического мироощущения в нем является не победитель, а побежденный, отнесенный революционно настроенным большинством к категории «бывших». «Бывшесть» осмысливается писателем как сложнейший социально-психологический феномен, следствие богопротивного нарушения одного из наиболее значимых созидательных актов – акта номинации, имянаречения. В связи с этим ономастические метаморфозы, деструктивные по своей природе, обращиваются для персонажей невозполнимыми потерями.

И действительно, как показано в произведении, в процессе приспособления к новым условиям существования «бывшие» заметили следы своего прошлого ценой огромных духовных потрясений, часто утратой имени, а значит, и самого себя. Так, главный герой, Петр Васильевич Корнилов, сын адвоката, бывший приват-доцент и белогвардейский офицер, решил присвоить себе чужое отчество (Николаевич), принадлежавшее умершему в лагере от сыпного тифа однофамильцу, менее виноватому перед большевистской властью: «Мы были вместе – тот и этот Петр Корнилов! А теперь мы оба – это я один! Один!» [5, с. 20]. Однако одному быть не пришлось: перемена отчества вызвала мучительный процесс внутреннего раздвоения. Более того, став в результате ономастической метаморфозы из Васильевича Николаевичем, герой попадает под власть чужого сознания, т.к. «несуществующий Корнилов все еще настойчиво продолжал руководить и определять жизнь этого, существующего» (Там же, с. 108). Более того, чужое отчество, разорвав наследственные родовые связи, лишает героя и собственного отца и личного отцовства, а главное – уводит ощущение «*достоверности себя самого*», что равносильно потере «*всей существо-*

сти», потеря «субстанции, как и самости» [2, с. 400]. Личным раздвоением проблема не ограничилась: «разрозненный, расхристаный» внутренний мир Корнилова «тоже раздвоил, растроил, раздесятерил» мир окружающий [5, с. 608–609]. В итоге самоидентификационный процесс оказался невозможен (о социально-нравственном смысле данной ситуации см.: [7, с. 71–83]).

Если произведение С. Залыгина (хотя и не в означенном аспекте) все же получило адекватную оценку в критике 1970–1980-х гг., то роман И.В. Головкиной (Римской-Корсаковой) с говорящим названием «Побежденные» в течение нескольких десятилетий оставался неизвестным читателю. Распространяясь в самиздате, он увидел свет в журнале «Наш современник» лишь в 1992 г. По существу, внучка композитора воссоздает аналогичную ситуацию с «бывшими», но в более трагическом варианте, поскольку ее герои, принадлежавшие к аристократической элите, стали жертвами беспрецедентного идеологического прессинга. Повторилась и похожая ономастическая метаморфоза, но опять же в более жесткой модификации.

Главный герой, Олег Дашков, представитель древнего княжеского рода, поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка с двумя Георгиями – активный участник белого движения, командир так называемого батальона смерти. Получив в 22 года тяжелейшее ранение, он оказался в госпитале. Однако после взятия Перекопа Красной Армией вряд ли что могло спасти от большевистской мести белого офицера. И тогда денщик, искренно привязанный к князю, в те минуты, когда госпиталь оказался в окружении красных, отобрал у своего командира, находившегося в бессознательном состоянии, настоящие документы и положил к его изголовью чужие, принадлежавшие только что скончавшемуся фельдфебелю, мещанину по происхождению – Осипу Андреевичу Казаринову. Так аристократ Олег Андреевич Дашков стал сыном столяра, слесарем Севастопольского завода, насильно завербованным белыми.

Приобретенные биография, фамилия и имя никак не могли свидетельствовать о дворянских корнях. Этот очевидный факт спас от расстрела, но не мог спасти от Соловков, где персонаж провел семь с половиной лет за укрывательство знакомого гвардейского полковника, также скрывавшегося под чужим именем.

Однако освобождение положило начало новому витку мытарств: «Я словно вывихнутый» [3, с. 83]. И хотя в конце концов решился вопрос с пропиской и устройством на работу, нашлась жена убитого брата, Нина Дашкова. Герой романа И. Головкиной, в отличие от залыгинского персонажа, не принес в жертву вполне сносному существованию ценности высшего порядка: продолжал бывать на церковных службах, стал мужем и отцом, а главное – вернул себе полученное при крещении имя. Простонародное Осип вскоре «опротивело» ему, и перед получением советских документов («соцсправки») Дашков решил рискнуть: залил чернилами имя, оставив заметной лишь начальное *О*, и, поскольку первая буква, как и общее число литер, совпали, это не вызвало подозрений (Там же, с. 68). В итоге произошел обратный процесс: мещанин Олег Андреевич Казаринов если не отождествился, то максимально сблизился с князем Олегом Андреевичем Дашковым. И это было очевидно, т.к. и после Соловков в человеке с измученным лицом сохранились изящество осанки, церемонность, изысканность манер, свободное владение тремя иностранными языками, т.е. все те атрибуты облика и поведения аристократа, бывшего блестящего кавалергард-офицера.

Тем не менее не следует впадать в крайность: побежденные – далеко не всегда жертва или коварная «ошибка» истории, как, впрочем, и победители, но, в отличие от последних, они, лишённые возможности упиваться своей победой, более склонны к рефлексии, к стремлению обдумать случившееся в единстве причинно-следственных связей. Так, одним из эпизодических образов романа является бывший генерал, прошедший советский концлагерь. Со «старомодной изысканной вежливостью» он произносит слова, которые непониманием и болью отозвались в некоторых сердцах: «Ясно было с самого начала, что из белогвардейского движения толку не выйдет». Подтверждая, что оно породило истинных героев и что «когда-нибудь история реабилитирует их память», мудрый генерал уточняет: «Незаслуженное пятно будет смыто, но реабилитирована будет только память, отнюдь не задачи» (Там же, с. 55–56). Еще более показателен образ подростка Мики, брата Нины Дашковой: уж «очень по-взрослому» тот рассуждал о том, что «большевизм послан в нака-

зание за грехи их дедов и прадедов, которые вели слишком праздную и роскошную жизнь» [3, с. 70].

Что касается самого Дашкова-Казаринова, то он жил с неизбывным бременем обиды и злобы, считая произошедшее следствием страшного предательства низов. «Да, я боролся за Россию. Да, мы бесстрашно шли в бой. Но те, кто видел, как мы умирали на фронте, дали себя распропагандировать, пошли на поводу у мерзавцев. С нас, офицеров, срывали погоны, нас расстреливали <...>. За что? За доблесть, за любовь к Родине, за верность долгу и присяге!» (Там же, с. 81). Он не мог никому и никогда простить расстрелянного в Петербурге отца-генерала, погибшего старшего брата и мать, брошенную непогребенной на куче мусора. Отсюда непреходящая боль и нежелание приспособливаться к вкусам чуждой среды, ее правилам и требованиям. С этой точки зрения все это понятно и закономерно.

Другое дело, что ненавистные «товарищи» состояли не из одних «хамов», «мерзавцев» и «негодяев». Так, муж некогда увлеченной Олегом бывшей смолянки Марины Драгомировой, ставшей теперь Риночкой Рабинович (замужество – одна из популярных форм приспособления «бывших»), Моисей Гершелевич, принимая по просьбе жены князя на работу, на его слова о несоответствии анкетных данных действительности ответил: «Ну а вы думали, что я этого не понимаю? Ну, и какой же я был бы осел, если бы не понял сразу, что вы такой же Казаринов, как я князь Дашков? <...> Я принял Казаринова и принял потому, что мне не хватает кадров, а это грозит срывом работы – я так и заявлю в парткоме» (Там же, с. 70). Безусловное уважение вызывает и сосед по квартире, бывший красногвардеец (кстати, бравший Перекоп), а теперь рабфаковец Вячеслав Конопляников, давно догадавшийся об истинном прошлом Олега, но не собиравшийся писать доносы в ОГПУ. Немало теплых искренних слов слышал Дашков и от простых людей. Кроме того, и сам герой был далеко не безгрешен. Застав при освобождении одного из поместий отвратительную картину грабежа и насилия, творимую «полулюдьми-полуживотными», он почувствовал, «как мутная злоба душит его за горло». А отдав приказ о расстреле насильников, увидев через полчаса их злобные, угрюмые, но протрезвевшие лица, он навсегда запомнил безусого паренька, «смертельно

бледного с расширившимися, полными ужаса глазами», и не мог не понимать, «что был жесток» (Там же, с. 84). Неоправданно жесток.

Однако Олег Дашков – натура цельная. Поэтому герой не пошел на сделку с чекистами, которая предлагалась ему, но по той же причине обрек юную жену на ссылку и гибель, детей – на сиротство, а себя – на расстрел. Но расстреливали уже не Олега Казаринова, а Олега Дашкова, князя Рюриковича, Георгиевского кавалера. И эта смерть под собственным именем разрубила главные узлы в его земном бытии. Во-первых, сама собой снялась проблема самоидентификации. Во-вторых, ушли как нечто второстепенное и «наносное» ненависть, презрение, гордыня, «вся узкая классовость». Напротив, в груди «бились любовь, перераставшая рамки тела» и вылившаяся в главное слово – «Россия!» (Там же, с. 521). И не только русским патриотом, но и настоящим христианином ощутил он себя в последнюю смертную минуту, поистине золотую: «– Господи, спаси мою душу! Яко разбойник исповедую» (Там же). Так побежденный стал одновременно победителем, т.е. классическая ситуация с Чацким повторилась в жестком контексте XX в.

Впрочем, удвоение, как отмечал Гегель, заложено в природе исторических событий. К. Маркс, подхватив гегелевский тезис, конкретизировал: первый раз история повторяется в форме «великой трагедии», второй – в виде «жалкого фарса» [8, с. 115]. Фарс действительно имел место, в том числе и ономастический, но его участниками, как правило, были победители. Так, уже упомянутый персонаж С. Залыгина с удивлением узнает, что у крайплавновского начальника Лазарева когда-то было «три имени! Может, и больше»: Константин Евгеньевич, Кузьмич, а до Кузьмича он был Петром [5, с. 643]. Как видим, фарс налицо.

«Но есть еще третье явление, третье воплощение исторического сюжета, – добавлял Шаламов, – в бессмысленном ужасе» [10, т. 5, с. 298]. И дело не только в том, что «любой расстрел тридцать седьмого года может быть повторен» (Там же, с. 351). Ситуация смертной казни, антигуманная по своей сути, может иметь свой смысл, в том числе и метафизический, каковым было распятие Спасителя: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор.: 15: 53). «Бессмысленный ужас», в отличие от одномоментного действия, перманентен, и реальность такова, что, постоянно испытывая давление безотчетного страха, человек

начинает привыкать к тому, что можно существовать «без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга» [10, т. 6, с. 68]. Если герой романа И. Головкиной узрел в смертный час во враждебной большевистской стране *свою* Россию, то колымские лагерники жили вне ощущения времени и отечества. «Человеческие схватки подземные» были выражением общего процесса «уничтожения человека с помощью государства» (Там же, т. 5, с. 157). Отсюда экстремальные формы психологической и физической самозащиты, связанные с растворением своего Я в безымянной массе подобных. Так, все интеллигенты (наиболее образованный контингент) имели одно и то же данное уголовниками «прозвище»: Иваны Ивановичи.

Манипулирование сознанием, «легкое управление человеческой совестью» (Там же, т. 2, с. 233) осуществлялись разными путями, но одним из основных являлась «оцифровка» реальности. Число в цифровом выражении подменило собой практически все: судьбу, упрятанную в папку с пронумерованными личными делами; самою личность, «цена» которой определялась процентом выработки; категорию питания, соблюдаемую строжайшим образом, ибо десять грамм недоданной селедки приводили к «кровавой драме» (Там же, т. 1, с. 113). Участники ее (будь то бывший партийный работник, деятель Коминтерна, герой испанской войны, безграмотный колхозник и т.д.) не отличались друг от друга «ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями обморожений на пальцах» (Там же, т. 2, с. 120). Об этом массовом модуле существования Э. Канетти писал так: «Голова – это голова и не более того, рука – это рука и не более того; то, что головы или руки могут быть разными, никого не интересует» [6, с. 34].

Одним из следствий подобного положения вещей была ономастическая стратегия самого Шаламова. По его наблюдению, писателям-реалистам, в частности Л. Толстому и И. Куприну, было трудно менять фамилии героев: «настолько поработает материал». И, напротив, у Гоголя, сочинявшего «на ходу», и Достоевского, придумывавшего фамилии («все мещанские»), соответствие с «натурой» было незначительным [10, т. 5, с. 332–333]. У Шаламова в рассказе «Заговор юристов» также отмечена деталь на грани реальности и выдумки. На двери лагерного

управления, куда среди ночи доставили заключенного, висела дощечка: «Ст. уполномоченный НКВД Смертин». «Для псевдонима чересчур», – подумал персонаж (Там же, с. 191–192). Однако в целом художественная ономастика «Колымских рассказов» беспрецедентно однообразна и намеренно упрощена.

Приведем факты. В рассказе «Ночью» заключенный Глебов – бывший врач, а в «Надгробном слове» персонаж с такой же фамилией – в прошлом профессор философии, забывший к тому же имя собственной жены (Там же, с. 421). В одном случае («Необращенный») руководитель практики на фельдшерских курсах названа Ниной Семеновной, в другом – («Курсы») она Ольга Степановна Семеняк. В рассказе «Первая смерть» описано убийство секретарши начальника прииска Анны Павловны, а в рассказе «Дождь» ее утешительные слова в адрес работяг приписаны неизвестной безымянной женщине, «какой-то бывшей или сущей» проститутке (Там же, с. 69) и т.п. В контексте наших рассуждений ответ на вопрос «Что ограничивало ономастические возможности писателя?» однозначен: число, сведенное к цифре. Оно определяло индивидуума по основным параметрам, в то время как имя приобщало к толпе: «настоящая» кровь, как утверждал Шаламов, «безымянная» (Там же, т. 5, с. 362).

Однако нельзя забывать, что в истории христианской культуры вещественная конкретика числа и имя собственное как эпицентр, вокруг которого «оплотняется» внутренняя жизнь личности [9, с. 205], взаимозависимы. Так и у Шаламова: целый комплекс надежд возлагался на фанерную бирку с номером личного дела, привязанную к голени умершего человека. Именно этот номер, который «не смоят ни дожди, ни подземные ключи, ни вешние воды» [10, т. 2, с. 109], как и нетленность плоти в зоне вечной мерзлоты, являлись гарантом ономастической идентификации в будущем. «<...> Каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом – может быть еще опознан – хоть через десятки лет» (Там же, т. 1, с. 397).

Разумеется, в «Колымских рассказах» нет той победы над смертью, которая позволила бы вспомнить слова пророка: «Смерть! где твое жало?» (Ос. 13: 14). Но здесь нет и торжества ада, если понимать преисподнюю, помимо прочего, как обитель забве-



ния. Писатель ничего не хотел забывать, и показательно, что «всем убийцам» оставлена «настоящая фамилия» [10, т. 5, с. 332]. И этот акт был не столько жестом мести, сколько формой духовного возвышения побежденных над сильными мира сего, художественной реализацией библейского предсказания: «большой будет в порабощении у меньшего» (Рим. 9: 12).

### Литература

1. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. XIV: Лекции по эстетике. М., 1958. Кн. 3.
2. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. IV: Система наук. Ч. I: Феноменология духа. М., 1959.
3. Головкина (Римская-Корсакова) И.В. Побежденные. М., 2006.
4. Жаравина Л.В. «У времени на дне»: эстетика и поэтика прозы Варлама Шаламова : моногр. 3-е изд. М., 2013.
5. Залыгин С.П. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1990. Т. 4.
6. Канетти Э. Масса и власть. М., 1997.
7. Компанеев В.В. Русская социально-филологическая проза последней трети XX века : моногр. 3-е изд. М., 2013.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1957. Т. 8.
9. Флоренский П.А. Сочинения: в 4 т. М., 2000. Т. 3(2).
10. Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 6 т. М., 2004–2005.

### *The beaten: issue of onomastic identification (based on the Russian prose of the second half of the XX century)*

*There is considered the onomastics of the Russian writers of the latest decades of the XX century, regarding the reproduction of the phenomenon of the "formerness" as the basis of the images of the beaten: the participants of the White movement of the Civil War times, the hereditary aristocrats as the object of the ideological pressing, victims of the Gulag. There is found out the conditionality of their image by the objective and subjective factors: the principle of historicism and the originality of the authors' creative individuality.*

**Key words:** *onomastics, name and number, social and psychological matrix, behavioural models, historicism, destiny, character.*

**А.В. СОЛДАТКИНА**  
(*Коломна*)

### ГРОТЕСК В ПОЭТИКЕ В. ВЫСОЦКОГО И В. МАЯКОВСКОГО

*Представлена попытка проследить традицию Маяковского в творчестве Высоцкого на уровне гротеска – приема, характерного для творчества обоих художников. Гротеск был одной из важнейших нитей, связывающих поэзию барда с наследием классика.*

*Ключевые слова:* *Высоцкий, Маяковский, поэтика, гротеск, традиция.*

Многие исследователи (Вл. И. Новиков, Х. Пфандль, М.Н. Капрусова, Г.А. Шпилевая, А.В. Кулагин, Е.И. Жукова и др.) подчеркивают интерес Владимира Высоцкого к творчеству Маяковского, отмечая, например, наследование «прозаизации стиха», определенных поэтических приемов [6, с. 457], влияние актерской работы Высоцкого (в спектакле «Послушайте!» по стихам Маяковского) на его лирику [3, с. 410] и т.д. Мы попытаемся проследить традицию Маяковского в творчестве Высоцкого на уровне гротеска – приема, характерного для творчества обоих художников. Нам представляется, что гротеск – одна из важнейших нитей, связывающих поэзию барда с наследием классика.

В 1915 г. Маяковский написал «Гимн ученому», в котором нарисовал его весьма карикатурно, с откусанной головой и без «одного человеческого качества»: «И солнце интересуется, и апрель еще, / даже заинтересовало трубочиста черного / удивительное, необыкновенное зрелище – / фигура знаменитого ученого. / Смотрят: и ни одного человеческого качества. / Не человек, а двуногое бессилие, / с головой, откусанной начисто / трактатом “О бородавках в Бразилии”» [2, т. 1, с. 78]. В этом, бесспорно, гротескном стихотворении есть зарисовка, которая, на наш взгляд, отзывается в песне Высоцкого «Гербарий». Читаем у Маяковского:

*Народонаселение всей империи –  
люди, птицы, сороконожки,  
ощетинив щетину, выперев перья,  
с отчаянным любопытством висят на  
окошке* (Там же, т. 1, с. 78).